

Меморандум В. Ф. Одоевского

«Тезисы Хомякова» — так называется публикуемая рукопись В. Ф. Одоевского, представляющая без всякого преувеличения огромный живой, а не академический только интерес. Одоевским зафиксирован важный и до сих пор не учтенный факт идейного противоборства, дорисовывающий драматическую историю перерастания дружеских, начавшихся еще в двадцатые годы отношений в неприязнь; значительнее однако другое — в споре петербургского «мистика»-«прогрессиста» (так многими очерчивалась его позиция) Одоевского и московского славянофила Хомякова с предельной отчетливостью обозначились принципиально разные подходы к проблеме национальной самобытности, определились формулы, громко прозвучавшие в пору «Вех», а ныне — в период наивного западничества и вульгарного славянофильства — ставшие расхожими штампами.

К середине 1840-х годов, как ранее уже отмечалось¹, стало ясно, что в понимании сути народной жизни Одоевский резко разошелся со своими друзьями-славянофилами. «Неужели же нам суждено, наконец, быть противниками? — 9 июля 1845 года писал «любезному» другу Одоевскому Хомяков. — Разумеется, если бы и так, то это нисколько не изменило бы наших старинных дружеских отношений, но прибавило бы много горечи к делу, которое и само по себе уже не больно отраднo. Да неужели это необходимо?»² Как видим, у Хомякова все еще теплилась надежда на то, что можно сблизить позиции, о многом договориться, что ему удастся привлечь Одоевского на свою сторону, поскольку в «Русских ночах» «Фауст у него сделался славяно-руссом»³. «Мне кажется, все дело в недоразумении, — писал Хомяков. — Ни ты, любезный Одоевский, ни другие, которые вместе с тобою всегда желали добра и подвизались за него (как, напр<имер>, Жуковский), вы не вполне оценили минуту современную ни в России, ни вне России. Дело всех людей, всех народов решается собственно у нас, а не на Западе, дело истинное, дело просвещения и жизни, которое гораздо выше и важнее всех так называемых практических вопросов»⁴. Однако противостояние возникло вовсе не из-за недоразумения или недопонимания — искания Одоевского шли в ином направлении. Провозгласив, что «девятнадцатый век принадлежит России»⁵, он вместе с тем прекрасно понимал опасность самоизоляции, высокомерно-презрительного взгляда на Европу, пренебрежения достижениями науки и техники и ратовал за совершенствование форм и условий народного быта, за скорейшее разрешение назревших «практических» вопросов. Писатель считал нелепым «разделение на русских иностранцев и на русских-русских»⁶, культивировавшееся Хомяковым и его единомышленниками: очевидный смысл такого противопоставления, высказанный еще в 1832 году в стихотворении Хомякова «Иностранка» — «... ей чужда моя Россия»⁷, — Одоевский категорически отвергал. Не признавая такого разделения соотечественников («все любим Россию»⁸, — возражал он Хомякову), Одоевский не мог объяснить себе, как его московские друзья, стремящиеся обнаружить некие самобытные, естественные, созидательные начала русской жизни, чтобы затем способствовать их органическому развитию, оказались в то же время людьми, не

© Хомяковский сборник. Том I. — Томск: Издательство «Водолей», 1998.

Публикация и комментарии М. И. Медового, 1998.

© «Im Werden Verlag». Некоммерческое электронное издание. 2007

<http://imwerden.de>

осознающими в полной мере природной силы нации. По его убеждению, болезненный опыт петровских реформ убедительно показал, что можно и должно есть не «наш собственный желудок», а переваривать чужое⁹, иначе говоря, что не следует, осваивая европейские достижения, бояться утраты самобытности. Этого не может и не должно произойти.

Вера Одоевского в силы России, в ее великое будущее не была обусловлена представлениями об исчерпанности, завершенности экономического и духовного развития Европы. Он исходил из того, что каждому народу суждено сыграть свою несомненно важную роль в истории, и был убежден, что пришло время России внести свой вклад в жизнь других европейских наций, возглавить их.

Воспринимая историю как всё изменяющий процесс, как путь прогресса, Одоевский не без удивления обнаруживал, что его московские друзья склонны идеализировать минувшее и в соответствии со своими представлениями, опираясь на отдельные исторические извлечения, пытаются отыскивать в прошлом неизменные, исконно славянские (архетипические, если так можно сказать) черты, хотят таким образом «посредством дотатарской Руси найти закон русской жизни в настоящую минуту»: «Мечта! Мечта!» — упрекал он Хомякова, не допуская возможности обустроить страну «на элементах допотопной Руси, еще не открытых»¹⁰.

Однако эти устремления Хомякова, его занятия «историческими призраками» (готфами, венедами и т. п.)¹¹ затронули писателя за живое, и Одоевский наметил для себя план работы:

«Трилогия: Россия и монголы.

1-я часть. Россия до татарского владычества.

2-я часть. Переход к татарским нравам и понятиям.
Борьба нравственная.

3-я часть. Россия под игом татар. Борьба материальная»¹².

Одоевскому, конечно, хотелось бы понять, что есть собственно русскость и какой была в действительности национальная жизнь до татарского владычества, но он сомневался в возможности сделать это. По его мнению, творческое воображение могло бы представить картины минувшего («восстановить их поэтически»)¹³, но достоверно определить первоначальные черты нации препятствуют не запечатлевшиеся в истории ряды веков до татарского ига и сложность требующего критического анализа материала, который постепенно входит в научный оборот. Поэтому Одоевский не без иронии заметил: «Новые сведения об истории монголов должны бы заслуживать предпринять следующий труд: отыскать, что есть монгольского в наших преданиях, нравах и обычаях, чтобы, отделивши это, определить, в чем могли состоять истинно Русские нравы и обычаи, а равно и до какой степени наши Летописцы смотрели на происшествия сквозь монгольскую призму» (20, 82).

Автор «Русских ночей» считал национальное конституирующим началом. Потому в новелле о Бахе говорится, что итальянская музыка открыла Магдалине, жене композитора, «новый, неразгаданный мир»: «Итальянская кровь, в продолжение сорока лет... сорока лет! обманутая воспитанием, образом жизни, привычкою, — вдруг пробудилась при родных звуках...»¹⁴. Пробуждаются «полуденные страсти», которые Магдалина старается подавить, и, хотя она продолжает заботиться о Бахе, поздно проснувшееся чувство и мысль о недостижимости счастья терзают ее до самой смерти. По Одоевскому, национальное непреодолимо как в человеке, так и в государстве. В 30-е годы он даже заявлял, что важен не тип государственного устройства, а его национальная природа, что «есть правление русское, английское, французское, а отнюдь не представительное,

монархическое или республиканское» (38, 20). Однако, по мнению писателя, изначальные свойства народа не могли не претерпеть в течение веков существенных перемен, а потому он предлагал Хомякову искать русские черты в действительности — «в настоящей жизни народа во всех его классах»¹⁵. Весьма скептически относясь к намерениям друга постичь, изучая патриархальное прошлое, самобытные формы быта и коренные национальные черты, Одоевский советовал поступать по-другому: «...ищи в себе, во мне», — и продолжал вызывать: «даже в Булгарине»¹⁶. Одоевский, будучи человеком деятельным, не мог не удивляться тому, что его московские друзья, люди, безусловно, горячо любящие родной народ, в сущности, ничего не делают для улучшения его жизненных условий и просвещения. Поэтому особенно несправедливым и обидным должно было показаться ему замечание Хомякова о книгах для народа: и «Сельское чтение», издававшееся Одоевским вместе с А. П. Заблоцким, в статье «Мнение иностранцев о России» Хомяков причислил к числу неудач, вызванных «отсутствием живого сочувствия и живого сознания»¹⁷, непониманием действительных потребностей крестьянства. Получалось, что Хомяков обвинял Одоевского в том, в чем тот в свою очередь не мог не упрекать московских приятелей-славянофилов. Каким бы ни было «Сельское чтение», но отсутствие «живого сочувствия» Одоевский усматривал как раз в неучастии в деле улучшения народного благосостояния и быта. Одоевский, впрочем, считал, что в москвичах вообще много беззаботной лени — «одного из старых славянских элементов»¹⁸, и это его беспокоило. Он написал о своих опасениях Хомякову 20 августа 1845 года, сравнив недвижность славянофилов с неподвижностью камня, препятствующего органическому развитию под ним или преграждающему реку.

Одоевский, оставаясь верен друзьям и не желая разрыва отношений с ними, однако не одобрял тех идей, которые они выдвигали. Побывав в мае 1842 года в Москве, он почувствовал перемены в умонастроениях и сразу же стал противником возникшего здесь нового направления, окрещенного им «православным мистицизмом». «1842. Москва изменилась. Прежде в мыслящей ее половине жили немцы, теперь мыслящие люди православны в высшей степени, — читаем в одной из записных книжек писателя. — Изучение памятников, возбужденное скептицизмом школы Каченовского, произвело род православного фанатизма, который дошел до того, что умные люди почитают нужным давать разумный смысл всему нелепому застывшему в Москве. Молодежь *donne en plein la dedans* <попала прямо в ловушку. — *фр.*>: Хомяков, диалектический ратоборец, очень рад, что нашел поприще бесконечное для своего игривого ума и разумной шутки. Боюсь, чтобы это направление не дошло до апотеозма московских тетушек. Между тем учение *ex officio* <обязывает. — *лат.*>, так, например, Морошкин отыскивает заповедную Русь, и их изыскания весьма замечательны» (95, 112). По всей видимости, чтобы не упрекать себя в предвзятости. Одоевский побывал на лекциях Ф. Л. Морошкина и окончательно укрепился в своей к нему неприязни. По его словам, Ф. Л. Морошкин, высокий человек простой наружности, «говорит красноречиво к нелепому наслаждению, но это не мешает профессору» (95, 112)¹⁹.

В приведенной выше яркой, полной сарказма характеристике московской интеллигенции и Ф. Л. Морошкину, одному из ее вдохновителей, противопоставлен Хомяков как действительно крупная и симпатичная личность. Его новые увлечения Одоевский по-дружески готов оправдать: открылось новое поприще для интеллектуальной, хотя и не безобидной игры. В свою очередь Одоевский был желанным собеседником Хомякова. «Насилу дождался я слушателя»²⁰, — сообщал он А. В. Веневитинову.

Очевидно, взаимная приязнь не позволила резко обозначить разногласия, тем более, что пребывание писателя в Москве было кратковременным. Одоевский «все прежний, даже в лице мало перемены; я, — писал Хомяков, — как будто вчера с ним виделся, так с первого раза он мне представился Одоевским 32-го года»²¹. <...>В умственном отношении точно то же. По-прежнему хочет самых свежих устриц и самого гнилого сыра. т. е. современности индустриальной и материальной, и древних знаний Алхимии и Каббалы»²². Однако ни Одоевский, ни Хомяков, осознававший себя борцом за идею патриархального, безыскусственного «быта областного с глубоким смыслом государства, представляющего нравственное и христианское лицо»²³, уже не были прежними.

Вскоре выявилось между ними, пользуясь словами Хомякова, «много разрывов», возникла угроза вражды, однако поскольку ни тот, ни другой не желали стать противниками и надеялись сохранить душевное тепло и взаимное расположение, то становилось необходимым до конца высказать свои убеждения и обсудить их; «грех не стараться об устранении всех возможных недоразумений и разрывов»²⁴, — писал в 1845 году Хомяков Одоевскому. И хотя, судя по опубликованной переписке, избежать противоборства было уже невозможно, все же стремление вопреки всему достичь взаимопонимания или, на худой конец, избежать публичных столкновений привело к той встрече, отчет о которой составил В. Ф. Одоевский со всею возможной тщательностью, памятуя о «диалектическом наездничестве» друга.

Листы переплетенной рабочей тетради, на которых записан меморандум, разделены надвое: правая часть отведена собственно тезисам, левая же имеет название «Поправки Хомякова». Это, хотя все поправки и запись сделаны рукой Одоевского, думается, дает основания предполагать, что, во-первых, документ был известен Хомякову, а следовательно, точно фиксирует его суждения, и, во-вторых, что он не предназначался лишь для личного архива. Можно только гадать, почему Одоевский счел нужным зафиксировать суть и логику спора: то ли чтобы избежать в дальнейшем упреков в неточности, искажении деталей или смысла и т. п., то ли чтобы познакомить с полемикой знакомых (может быть, Н. Ф. Павлова, Е. П. Ростопчину). К сожалению, меморандум не датирован, однако, судя по другим соседствующим материалам, в частности, и по записи нового адреса Ф. М. Достоевского («на углу Малой Морской и Вознесенского пр<оспекта>, дом Шиля, в квартире Бреммера», куда, как известно, писатель переехал весной 1847 года), можно предполагать, что встреча произошла не ранее 1846-го. а скорее всего перед отъездом Хомякова за границу в 1847 году.

Привожу текст документа, воспроизводя его особенности: вычеркнутое карандашом дается в квадратных скобках, сделанные сразу же поправки — в фигурных скобках, дописанное выделяется курсивом, подчеркнутое — разрядкой, конъектуры обозначаются угловыми скобками; * — значок и сноски Одоевского.

Поправки Хомякова

Живое, целое в Русском народе имеет лишь хорошие стороны, а дурные суть напрасны.

Тезисы Хомякова

[В русском народе есть хорошие и дурные стороны. Те и другие произошли от исторического развития, а потому те и другие составляют живое целое.]

Под русским народом надобно разуметь простой народ, но не так называ-

емое просвещенное общество, ибо оно образовалось по западному направлению и, как все извне образованное, мертво, не имеет жизни и соединение его равно соединению зерен песка.

Всякая деятельность, всякое улучшение, которое не развилось прямо из [обеих сторон] *живого целого* народа [т. е. хорошей и худой], вредно, ибо нарушает живой организм народа, и от того народ не принимает [{Простой народ в высшей ст<епени>}] извне сих улучшений. [{Те из простого на<рода>}]

Посему: приюты,
[школы,]
рукодельные,
разумная, сознательная
милостыня,
[гражданская грамота,]
книги для народа¹

[ибо приюты отучают дитя от семейства ибо дитя привыкнув в приюте к чистоте, порядку получит дурное понятие о своей семье, находя отца пьяным, а мать нечесаную и во вшах]

Не должно вводить улучшения нарушающего историческую жизнь народа, хотя бы это улучшение и предохраняло от некоторых бедствий. Н<a>п<ример>, лучше, чтобы ребята ломали себе ноги, угорали и производили пожары, или (в деревнях) валялись на траве возле матери-жницы, или (в городах) оставались под присмотром слепой и пьяной старухи, — нежели посылать их в приют, пришедший к нам с Запада.

Дети понимают и часовник и псалтырь

Лучше, чтобы дети выучивали наизусть часовник и псалтырь, не понимая в них ни слова, чем читали бы гражданские книжки хотя бы о механике, физике, земледелии, технологии, ибо хотя из сих книжек они и почерпнут некоторые сведения, но потеряют ту жизнь, которую они почерпнут из часовника.

[Лучше оставить ребенка при безнравственных и пьяных родителях, нежели удалить его от дурных примеров, оторвав его от семейства и поместив в школу, образованную по Ланкастерской или другой западной методе.

¹ [Больницы? Страховые общества?] Паровые машины? Фабрики.

Милостыню стараться подавать с разбором

Лучше раздавать по воскресеньям милостыню зря, кому попадет, пьяному и безнравственному, нежели подавать милостыню с разбором, потому что простой народ не разбирает кому он подает милостыню]

<потому> что эта работа есть привилегированное соперничество против настоящих работников

Лучше давать милостыню даром, чем доставлять работу в Рукодельнях, по Западному примеру, ибо на Западе пролетарием и пауперизм произошли от Рукоделен, приютов, школ и проч. т. п.

Русский простой народ соединяет в себе в высшей степени: любовь, религиозность и художественность.

Это доказывается следующим:

Нет, ибо они тотчас усыновляются.

Московской, Рязанской

1. Сироты в деревнях [приручаются целой деревней.]

2. В Тульской губернии во время голода сотни людей просили милостыни, но не нападали на возы с хлебом.

3. Ходебщикам поручаются десятки тысяч на слово без записи.

Долгое житье в сих городах возвращает.

Простой народ принял западные улучшения в некоторых городах, как н<a>пр<имер>, в Петербурге, в Одессе, в Астрахани, но там уже народ потерял свою живую организацию, развратился (Балуи-города).

мы не можем и не умеем, потому что мы сами народ испорченный.

Для народа писать [не должно, ибо народ все знает лучше нас, хотя никому еще не высказал, что он такое знает.]

Русскому простому народу недостает некоторых отрицательных добродетелей, которыми {напрасно} [так славится] *обилует* Запад, а именно

1. Уважение к чужой собственности: н<a>пр<имер>, немец не срубит дерева в чужом лесу и не примет чужой пашни.

2. Заботливость о будущем — она не сродна нашему народу-поэту.

3. Добросовестность в работе, а не на в о с ь и не на ж и в е т .

4. {Желание} Любознательность. Апатии в простом народе нет.

Любознательность в высшей степени является в нашем народе.

Деятельность человека, желающего добра своей земле, должна ограничиваться следующим:

перевоспитать себя сообразно направлению простого народа, принять все его убеждения {даже предрассудки,} — словом, перейти в его жизнь, но отнюдь не стараться вводить в нее каких-либо улучшений, порожденных западным просвещением, за исключением положительных знаний, которые вводить позволяется.

Противупоставляемые тезисы

Совершенствование способов нашей победы над враждебными силами вещественной природы, сообразно указаниям положительной науки.

Совершенствование нашего быта вообще, разумно направляемого не минутными страстями или увлечениями толпы, но высшею, законною властью — вот в кратких словах поприще, которое достойно может быть названо человеческим; в этом начале, против коего не существует и не может существовать никакого возражения, вся жизнь человека и, следственно, основа воспитания (37, 10—19).

Так очерчены позиции сторон.

Как видим, Одоевского не убедили уверения Хомякова в том, что только простой люд, не испорченный городской жизнью, является хранителем созидательного, продуктивного самобытного начала («живого целого») и что потому не следует людям просвещенным, а следовательно, развращенным цивилизацией и оторванным от национальных ценностей, нарушать своим вмешательством сложившийся бытовой уклад. Он, не отрицая самобытных начал, присущих народу, и даже как будто допуская, что его «дурные» стороны вовсе не участвуют в развитии «живого целого», не соглашался с тем, что эти естественные свойства могли остаться вопреки времени вовсе неизменными, стабильными, раз и навсегда данными, и вследствие этого оспаривал возможность — пусть и по-новому — «в просвещенных и стройных размерах, в оригинальной красоте общества» воскресить «древние формы жизни Русской»²⁵.

Конечно же, Одоевский, как и Хомяков, осознавал, что перемены (с его точки зрения, неизбежные) приведут к пролетарскому пауперизму, который уже мучительно сказался в Европе. «За просвещением влачитя пауперизм, как болезнь за возрастом, констатировал писатель и, помня, что, по Хомякову, в отличие от обустроенного Запада Россия выросла как живая сущность, продолжал: — Не следует ли из того, что человек должен и тем более *может* оставаться вечно ребенком» (41, 109). По мысли Одоевского, коль скоро вступление в новый возраст естественно как для человека, так и для общества, нужно не противиться жизни, а стараться по мере сил и знаний ослабить отрицательные последствия возрастных изменений. «Дело все в том, — заключает он, — что гигиена младенца, взрослого и старика различны» (41, 109).

Не случайно Одоевский активно участвовал в работе «Общества посещения бедных», требовавшей огромного напряжения душевных сил. В благотворительной деятельности, — признавался потом тайный советник, — «закалилась душа моя», но «и теперь каждый день молюсь: да идет мимо меня чаша сия» (74, 53). Он многих сотрудников раздражал искренним стремлением оказывать помощь действительно бедным, нежеланием ограничиваться формальным администрированием; в то же время нелегко было писателю знакомиться с фактами «примитивного», как он выражался, пауперизма. Работая в «Обществе посещения бедных», Одоевский убедился, что социальная гигиена не сводима к благотворительности, без которой все же нельзя обойтись, что она должна главным образом состоять в обучении работника, в создании, как теперь бы сказали, квалифицированной рабочей силы. Он писал в конце 1850-х годов, когда стала ощутимой возможность трансформации русской бедноты в «опасный класс» (89, 113) пролетариат, следующее: «Жалуются на безнравственность наших мастеровых, они чаще всего попадают в шайках воров: причина сего состояния — бедность: бедность от недостатка или дешевизны работы: недостаток в работе — от ее неискусства; неискусство работы — от недостатка и дурного устройства школ, неустройство школ — от недостатка государственных доходов» (34, 110). Как видим, Одоевский остался верен себе: Хомякову, безусловно, задевшему в споре приятеля за живое, так и не удалось убедить его ни в том, что именно город с его соблазнами развращает мастеровых, ни в том, что устройство мастерских, нарушая нормальное течение народной жизни, ведет к вражде создаваемой таким образом прослойки ремесленников с «настоящими» (для Одоевского — плохими, неискусными) работниками. «Сделайте усилие, — продолжает Одоевский, — рискните, как в торговом предприятии, улучьте школы — и вышеозначенная прогрессия обратится в отрадную, последним членом коей будет образование и лучшего и большего труда, след<овательно>, возможность обложить его высшими податями, след<овательно>, увеличение госуд<арствен-ных> доходов» (34, 110). Чтобы избежать пролетарского пауперизма, кроме обучения работников, Одоевский предлагал пока не поздно создать необходимое число «земледельческих колоний — акционерных обществ» (89, 114).

Деятельность Одоевского определялась стремлением к «современности индустриальной и материальной», жадной совершенствования, а потому он не мог и не хотел понять, как можно возражать против улучшения жизни, против внедрения (пусть и не всех, но многих) научных достижений, «против просвещения простого народа» (89, 431), против, как ему казалось, развития отечественной науки. Потому уже после объяснений своих принципов (см. <Противупоставляемые тезисы>), у него возникло намерение «писать к Хомякову, как он определился в полицмейстеры и готов подвергнуть остракизму Линнея» (47, 36 об.). Понять смысл этого замысла позволяет другая заметка Одоевского, сделанная, по-видимому, много позже. «Помню также, как поразил меня анекдот о Линнее, — рассказывает писатель. — Великий естествоиспытатель прикрыл однажды рукою пригоршню земли и сказал своим ученикам, что жизни человеческой не достанет для полного изучения того, что у него было под ладонью. Ученики захотели проверить слова учителя — и оказалось, что действительно жизни их всех не достало бы для изучения всех минералов, растений и животных, которые нашлись в Линнеевой пригоршне. С тех пер, продолжает Одоевский, — мне стало досадно слушать людей, которые уверяли, что они уже всё порешили, все знают, все ведают, что природа очень проста, истина — также и добыть ее вовсе не трудно и проч. т. п. Эти люди, вероятно, прочли чудодейственную дощечку, но как они до сих пор никому еще ее не сообщили, то нам остается лишь Линнеева пригоршня» (41, 39 об.). Этот набро-

сок, свидетельствующий о верности писателя романтической идее бесконечности познания («снятия покровов») и о его приверженности опытным наукам, возник, несомненно, вследствие спора с Хомяковым.

Несмотря на то, что Хомяков много писал и говорил о развитии, движении, непредсказуемости последствий того или иного начинания и т. п., Одоевский, как свидетельствует его меморандум, упрекал друга не только в нежелании «совершенствования нашего быта вообще», но и в отказе от исследования природы, от пополнения и углубления знаний, в боязни нового и чужого, в консерватизме, иначе говоря. Безусловно. Одоевский понимал, что Хомяков не рутинер; Одоевский не мог не знать, что его антагонист не допускал даже мысли будто когда-нибудь достижения европейской научной мысли могут стать «нам совершенно бесполезными», и, конечно же, помнил, что Хомяков писал о необходимости принять все, «чем может укрепиться земля, расширятся промыслы, улучшится общественное благосостояние»²⁶. Однако подобных суждений, сделанных, впрочем, со многими оговорками, из которых важнейшей оказывалась та, согласно которой «случайные открытия Запада» должны были обрести в России истинный или хотя бы «более глубокий» смысл, было для Одоевского недостаточно, тем более что они не определяли главного — намерения воскресить, а не только уяснить, древнюю Русь, «подвигаясь вперед»²⁷. Дело в том, что Хомяков и Одоевский по-разному представляли себе будущее России: один мечтал о преображенной на этнической основе великой державе, не знающей катаклизмов, другой — о процветающем, благоустроенном по-европейски государстве, успехи которого, предопределенные добродетелями народа, заставят и европейские страны облагородиться, очиститься от пороков. По Одоевскому, прошлое так или иначе реализовалось уже в настоящем, а потому нет для России иного пути, кроме начатого, нет условий для адаптации современного жизнеустройства к нормам минувшего. В такой связи, очевидно, он говорил Хомякову о необходимости сотрудничать с властью.

Одоевский, подобно С. П. Шевыреву и М. П. Погодину, не видел иной силы, способной вести страну к благоденствию по пути реформ, кроме законного правительства. Опасаясь проникновения в Россию социалистических идей не менее Хомякова, он со всей определенностью утверждал: «Нам нужен не метафизический, а потому мертвый и отсталый социализм какого-нибудь Герцена, но [живое] положительное разумение общих условий человечества, в [его] их живом применении к далекой стране, ее местности, ее нравам, степени просвещения, словом, ко всему тому, что называют народностью» (34, 3). Мысль о возможности и необходимости органического внедрения в национальную жизнь несомненных общечеловеческих ценностей была дорога для Одоевского; он неизменно отстаивал ее энергично и последовательно.

Состоявшаяся беседа не привела к сближению позиций, но еще некоторое время дружеская привязанность и хорошее воспитание удерживали спорщиков от открытой полемики. Спор продолжался без излишней огласки, заочно: проблемы, затронутые во время встречи, вновь и вновь обдумывались, усиливалась аргументация, оттачивались формулировки.

В 1847 году Одоевский работал над «Русскими письмами», намереваясь систематически изложить в этом цикле свои воззрения. Невозможно определить, возник ли этот замысел до или после встречи с Хомяковым — а думается, что именно разгоряченность и желание договорить все до конца и побудили писателя взяться за перо, — однако антиславянофильская направленность «Русских писем» очевидна. Подобно многим другим его начинаниям, этот замысел не был доведен до конца, но сохранившиеся фрагменты позволяют с достаточной точностью очертить исходные позиции Одоевского.

«Для России два исхода, — словно продолжая спорить с Хомяковым, пишет Одоевский, — или развивающееся просвещение, которое с каждым годом будет более давать правительству надежных исполнителей и знающих советников, которых присутствие дает возможность прочных и постепенных улучшений; или — постепенное ослабление от натуги сил, от вредного разрушительного действия невежественных агентов и, может быть, при некоторых обстоятельствах усобицы. Для истинно русского выбор не труден, и нечего тут заботиться о том, как и откуда должно придти просвещение, или знание, славянское ли, петровское ли, западное — все равно — было б *знание*, которое одно образует надежных исполнителей закона и опытных начертателей закона» (48, 105). Примечательно, что Одоевский отвергает как несостоятельный и бесперспективный путь, избранный славянофилами, с позиций «истинно русского» человека, прибегая к этой любимой москвичами формуле, чтобы избежать упреков в космополитизме, а следовательно, в неискренности и незаинтересованности в судьбах народа. По схожему поводу и по-прежнему решительно выступая в защиту образования и технического прогресса, в 1850-е годы он назовет противников просвещения «врагами России», резко и безоговорочно будет утверждать, что «нападают на науку, на грамотность, на железные дороги» «враги ее благоденствия и устройства» (41, 20).

Одоевский подчеркивал безусловную ценность истинного знания и, очевидно, памятуя, что Хомяков допускал восприятие лишь того, что «полезно и честно в своем начале» и что не унижает достоинства народа, а именно науки отвлеченные и прикладные²⁸, отвергал в противность Хомякову какую-либо избирательность: «было б *знание*». Однако писатель, постоянно пристально следивший за состоянием европейской научной мысли, ясно сознавал, что она находится в преддверии нового подъема, что накопленный естественными науками материал требует переосмысления. В отличие от позитивистов, для Одоевского наука не была рациональным делом, сферой специального интереса — она несла в себе и с собой надежды, перспективы, человеческие устремления; ожидание нового научного подъема, вполне в преддверии открытий А. М. Бутлерова и публикации «Происхождения видов» Ч. Дарвина обоснованное, во многом определяло пафос «Русских писем». «Мы достигли в эту минуту, — констатирует Одоевский, — того состояния науки, когда мы можем решительно сказать, что мы ничего не знаем; лет десять тому назад мы думали, что знаем химию, что знаем ботанику, — теперь все ниспровергнуто, — в химии, в физиологии растений — *каша!* <...> счастливое мгновенье! — продолжает он. — Как хорошо увериться, что мы вдали! Это залог успеха!» (48, 120). «Русские письма», несомненно, должны были стать книгой о судьбах науки и необходимости просвещения, о невозможности изъять Россию из интеграционного процесса, о надеждах на успехи русских ученых, о размытости границ между различными формами духовной деятельности человека.

Важно учесть, что в конце сороковых годов не было в кругу московских славянофилов неприязни к Одоевскому, с его мнениями считались. А. И. Кошелев, в частности, воспринимал их сочувственно. Более того, он готов был признать, что Хомяков и сблизившийся с ним С. П. Шевырев ошибаются, недооценивая достижения европейской цивилизации и отрывая национальные корни от общечеловеческих. Будущий редактор-издатель «Русской беседы» не только не соглашался с тем, что европейские народы утратили великие христианские ценности, сохраненные в православии, но и смело утверждал, что не на Западе, а в России они не включены в жизнь. Об этом он откровенно писал С. П. Шевыреву 8 марта 1848 года, обдумывая первые сведения о событиях Французской революции:

«Происшествия во Франции имеют огромную важность для всей Европы. Гизо в этом деле первый и главный виновник. Речь, которую он заставил короля произнести при открытии палат, есть или жестокая глупость, или преступление. Когда я прочел эту речь, то *Jornal des Debats* у меня выпал из рук. Людвига Филиппа извиняет одно: 17-летние труды истощили его силы и 75-летняя старость взяла верх над огромными его способностями. Людвига Филиппа жаль; монархия еще нужна была для Франции. Кризисы во всех болезнях трудны, и чем тело крепче, тем переломы опаснее. Франции провидением кажется назначено быть в Европе станцией пробуждения, тревоги. Шибко опасаясь, что завяжутся во всей Европе сильные борьбы.

Что касается до начала тобою восхваляемого, начала любви, разума и свободы, хранящегося в Слове Божиим, то и в этом вполне с тобою согласен. В нем жизнь, всякий успех и всякое благополучие. Не думаю, чтоб на Западе считали бы его за бред и чтоб оно уцелело у нас одних. У нас это начало сокрытый талант, а там оно действует и приносит плоды.

Не думай, друг Шевырев, чтоб я был нерусский душою; нет, я готов пожертвовать всем для блага моего отечества. Русский народ ценю я высоко и вижу в нем зародыш будущего его величия; но мы разумеем вещи иначе. Мне крайне больно быть разных мнений и с тобою, Хомяковым и пр. и с Одоевским, Павловым и пр. Мне кажется, что вы все односторонни; конечно, это свойство людей гениальных, но мы, люди посредственные — народ толпа, мы не изобретательны, но истинное дело чувствуем живее. Будь уверен, любезный друг, что одна История Русская не раскроет нам будущности нашей. В мире западном живут начала общечеловеческие, которые должны проникнуть в нашу жизнь, и тогда только мы выйдем из скорлупы, которая теснит нашу индивидуальность»²⁹. Многие в этом не учтенном исследователями письме (требование терпимости, признание ценности и необходимости для России европейских — «общечеловеческих» — начал, в частности) созвучно идеям Одоевского, и это позволяет утверждать, что А. И. Кошелеву не так легко далось участие в хомяковском кружке, как это изображается в его «Записках»³⁰.

Позиция А. И. Кошелева, тяготевшего к западничеству, не была, конечно, ординарной. В Москве господствовали иные настроения, да и представления о Европе были, как свидетельствует Е. П. Ростопчина, «вообще очень сбивчивыми и неопределенными»; с горечью и раздражением сообщала она 15 января 1848 года Одоевскому, что «для Хомякова и его шумливых, нечесаных, нелепых приверженцев бледный заграничный мир только сцена, на которую они поглядывают покойно с своего тепленького местечка, зеваючи или припеваючи, как кому случится, покуда бедные арлекины и паяцы, действующие единственно для вящей их, зрителей, забавы, стучаются, дерутся и суетятся, а славяне глядят презрительно да поглаживают свою бородку»³¹. Осуждая отношение Хомякова и его сподвижников к европейским делам, поэтесса, глубоко потрясенная революционными событиями, фактически сошлась с ними в своих выводах: «Нам только должно, — уверяла она, — повторять слова Христовы: «Да мимо идет чаша сия!» — и не допустить нашу Русь, еще здоровую и молодую, отравляться мнимым просвещением, где яд сокрытый и тлетворный подносится ей злоумышленно или неосторожно. Если бы нам теперь себя оградить духовно китайскою стеною...»³² Одоевский не мог с этим согласиться. Он по-прежнему настаивал на необходимости энергичной научной и просветительской деятельности и разумного реформирования. «Лишь вовремя произведенными реформами, — замечал, обдумывая происходившее в Европе, Одоевский, — можно остановить вторжение гибельных, фантастических нововведений» (34, 3). Писатель оста-

вался верен себе, и это не могло не вызывать раздражения в славянофильском лагере.

Время показало, что сблизить позиции, достичь компромисса не удастся, так что в конце концов в 1856 году Хомяков, выступая как идеолог «Русской беседы», счел нужным подвергнуть взгляды некогда «любезного друга» нелюбезной критике. Во второй книжке журнала без указания имени автора был опубликован памфлет Хомякова «Разговор в подмосковной»; в нем под маской Николая Ивановича Запутина, человека, безусловно, порядочного, но принадлежащего к числу «людей безродных», хотя сам он считает себя русским вполне, выведен В. Ф. Одоевский, а блистательный полемист, умный и, конечно же, побеждающий в споре Иван Алексеевич Тургенев — alter ego автора. В этом легко убедиться, хотя, чтобы хоть слегка завуалировать своего антагониста, Хомяков пишет, что Запутин, не чуждающийся журналистики, замечательно служил не только на гражданской службе, но и по военному ведомству.

Вспомним меморандум Одоевского, — в «Разговоре в подмосковной» Хомяков заставляет Запутина по-своему сформулировать суть спора десятилетней давности. «Вы, — обращаясь к Тургеневу, произносит его искренне заблуждающийся оппонент, — говорите Русскому народу, чтобы он сохранял народность: а ему просто надобно говорить: учись!»³³ Запутин, живущий не по-русски и не признающий «особенной необходимости холить свою народность», в связи с этим замечает: «Крепка она, так не в опасности; слаба, так Бог с нею! В истории одно правило: „*Vae victis*“»³⁴. Несмотря на свою безусловно искреннюю любовь к народу, Запутин не ощущает его органически, не испытывает естественного для русских людей, по мысли Тургенева, безотчетного доверия к мудрости народа. Он не может понять достоинств самобытного уклада, таящего в себе неисчерпаемый духовный потенциал. Пытаясь возражать Тургеневу, доказывающему, что успехи русской науки невозможны без пробуждения национальных начал, ибо «народность одна только дает нашему уму материал самой мысли»³⁵, Запутин говорит: «Дорого только общечеловеческое — истина. Национальное есть ограничение общечеловеческого...»³⁶ Не узнать в Запутине, все устремления которого «имеют одну цель, цель педагогическую»³⁷, Одоевского было невозможно.

Легко победив в вымышленном диалоге, Хомяков тем не менее несколько не убедил в своей правоте Одоевского, но, несомненно, возмутил его. Можно предполагать, что возражения в связи с публикацией «Разговора в подмосковной», в которой, кстати сказать, задета была и пристально следившая за новинками французской литературы Е. П. Ростопчина. Одоевский высказал в письмах к А. П. Кошелеву³⁵. Памфлет Хомякова побудил Одоевского вернуться к началу в «Русских письмах»³⁹ обстоятельному изложению своих воззрений и к последовательной критике взглядов своего оппонента. «Не признавать бытовых явлений с Хомяковым значит отрицать, что в бытовом явлении есть закон, который стоит над всеми и потому уважаем, — записывает он в начале января 1857 года в памятную книжку. — Не уважать бытовых явлений — значит ставить свою фантазию на место закона» (47, 36-36 об.). В такой связи и возник замысел трактата «Житейский быт», над которым писатель работал до конца жизни. Судя по сохранившимся в архиве писателя материалам, он намеревался, привлекая сведения по истории науки, статистические данные, газетные и журнальные публикации и т. п., показать, как совершенствующиеся условия быта влияют на человека, с тем, чтобы помочь молодым людям найти в жизни правильные ориентиры. В преамбуле Одоевский подчеркивал, что предпринял этот труд «по поводу вопросов, возникавших в душе молодого человека при разных событиях: нравственных, ученых, художественных, общественных, — какие

только могут быть при встрече человека с людьми и наукой, с искусством, с задачами собственной личной жизни» (89, 3). Объектом исследования становилась жизнь обыкновенного человека во всей ее полноте. В этом труде, обреченном на незавершенность уже в силу поставленной задачи, — писатель не зря называет «Житейский быт» записками для родственника и друга (89, 3), — Одоевский намеревался высказать принципиально важные, с его точки зрения, подходы к действительности. Прежде всего, он учил терпимости, считая, что «дух нетерпимости (intoleranse) может быть лишь в том, кто не изучал ни человека, ни природу, ни самого себя» (59, 184).

По мысли Одоевского, для каждого, кто в линнеевой пригоршне видит нечто неисчерпаемое, чей взгляд не скользит по поверхности, безапелляционность так же невозможна, как и бездоказательность. Так что затеявая книгу размышлений о человеке, о его приспособляемости к жизни и способности совершенствовать ее, он не мог не стремиться как к фактической достоверности, так и к учету происходящих в обществе и науке процессов. «История назовет годы 1848 — 1852 годами чистого опыта, экспериментальными, — пишет Одоевский. — Прошел век метафизических бредней, вольнодумных произвольных умствований и фанатических теорий; Европа и в политическом мире окунулась в действительность, как в мире науки. Не алхимическое мудрствование — чистый химический и анатомический опыт; разрезан каждый нерв, вымерен и взвешен; сердце сожжено сухой возгонкою; ум растворен в крепкой кислоте. Будут ли люди умнее?» (59, 159—160). Хотелось, несомненно, чтобы поумнели, но едва ли Одоевский намеревался и мог дать однозначный, простой ответ на этот напоминающий знаменитое задание Дижонской академии «Становятся ли люди счастливее с развитием просвещения» вопрос. Любопытно в такой связи, что, обдумывая письма к Хомякову, готовя материал для полемики, Одоевский высказал желание «изобразить в повести или драме семейную жизнь римлян» (47, 36 об.)⁴⁰. Не продиктована ли эта запись стремлением разобраться в трансформации любви и семьи, обусловленной поступательным движением человечества, — проблеме не новой, но вскоре актуализированной романом Н. Г. Чернышевского «Что делать?»?

Создавая «Житейский быт», Одоевский не мыслил рассмотрения каких бы то ни было проблем без учета европейского опыта. С его точки зрения, бесконечно многообразный и меняющийся мир един и постижение его закономерностей возможно лишь благодаря исследовательскому труду. Одоевскому приходилось доказывать, что результаты научных изысканий — кто бы и где бы их не предпринимал — становятся общим достоянием, входят в быт, в повседневные занятия. Это как будто никому не приходило в голову отрицать, но славнофилам казалось унижительным, как писал Хомяков, быть «прихвостнями европейской мысли»⁴¹, достичь же успехов им представлялось возможным за счет невостребованных самобытных богатств, отыскав свой, особый путь в науке. В памфлете «Разговор в подмосковной» Тульнев, стремясь доказать бесполезность всех попыток догнать и встать вровень с современной наукой, напрямую связывал успехи ученого с его национальностью. «Эйлер не должен был быть немцем, и Дальтон не должен был быть англичанином?» — спрашивает он, замечая при этом, что даже «теория волн в физике и теория атомов в химии <...> указывают на различия народов»⁴². Признавая, конечно же, существование научных школ, Одоевский не мог с этим согласиться, поскольку понимал общность задач, стоящих перед учеными-творцами, высоко ценил усилия каждого из них. Он ясно осознал к этому времени, что тайны природы постигаются благодаря труду, опирающемуся на знания, а не интуитивно, что рациональное мышление по-своему состоятельно, а потому отвергал хомяковскую идею

живого знания. Выступая против «изобретенных на Пречистенке» правил (47, 35 об.). Одоевский звал к деятельности осмысленной, опирающейся на несомненные достижения науки. В одном из его набросков 1857 года читаем: «„Вера без дел мертва есть“ — апостол Иаков, естественно, не разумел здесь дел бессознательных, но предполагал дела сознательные, т. е. такие, коим предшествует знание, а знание есть то же, что наука» (47, 34 об.).

В отличие от Хомякова, внушавшего читателям «Русской беседы», что «общечеловеческое дело разделено не <по> лицам, а народам» и что отрешение от народности губительно, «бессмысленно и убийственно»⁴³, для Одоевского все народы — сколь ни велика разница между ними — делают единое Божье дело, а следовательно, должны быть вовлечены в общий интеграционный процесс. «Всеми открытиями науки: парами, железными дорогами, электрическим телеграфом, номенклатурой, одеждою, обычаями, знанием, языком, — писал он в середине января 1857 года, — вырабатывается в человечестве одна между прочим задача: слияние народностей; не участвовать в сем движении значит отказаться от человеческого движения» (47, 34 об.). Служить своему народу и для Одоевского, и для Хомякова, несомненно, значило участвовать в общечеловеческом деле, но разумели они его по-разному, хотя Хомяков и проговаривался о чести быть человеком безусловно. Для Одоевского общечеловеческое дело не символ и не сумма разнородных слагаемых, а органически возникающее единое целое. Он неизменно настаивал на необходимости способствовать сближению народов, не задерживаться в развитии, не бояться перемен, а опасаться окостенения и одряхления. «Народ идет вперед, — утверждал писатель, — по мере совлечения с себя народности, как от прародительского греха, при существовании которого гибнут лучшие элементы данного народа» (47, 34 об. — 35). Об этом он намеревался писать А. И. Кошелеву, очевидно, надеясь на понимание.

Сохранилась в бумагах писателя и другая запись, несомненно, связанная с его размышлениями о памфлете и взглядах Хомякова. Напомню, что в «Разговоре в подмосковной» Тульнев, выступая против искусственной безнародности, ссылаясь на то, что все европейские народы, даже немцы, которым это далось труднее, чем другим, обрели национальное достоинство, «отстояли народность»⁴⁴. Одоевский же замечает: «Недавний взрыв национальностей есть предсмертный огонь угасающей лампы» (47, 35 об.). И все же писатель был всерьез обеспокоен ростом национализма, достигшего вершины, по его мнению, к 1866 году; на страницах «Житейского быта» он намеревался высказать свое понимание проблемы — показать, что «можно до безумия любить свое отечество и быть в близком общении со всем миром» (34, 173).

«Житейский быт», затеавшийся отчасти ради критики славянофильских воззрений, не был создан, а неспешно собиравшиеся Одоевским для этой своей итоговой книги материалы остались вне поля зрения исследователей несмотря на то, что они интересны сами по себе и, безусловно, необходимы для изучения эволюции писателя. Заготовки к «Житейскому быту» — замечательные свидетельства не только духовных исканий Одоевского, но и борьбы идей, в которой он — что бы ни говорили об утрате в обществе едва ли не с конца сороковых годов интереса к его суждениям — принимал посильное участие.

Чтобы не быть голословным, приведу некоторые фрагменты, так или иначе связанные с темами, затронутыми в спорах с Хомяковым.

«Жить — действовать, вот высокий удел, назначенный человеку провидением в сей жизни. Я живу — следственно, действую: я действую — следственно, живу» (89, 78).

«Для меня знание есть факт первобытный, независимый от воли человека, но лежащий в основании всех естественных явлений...» (89, 79 об.).

«Кровные недостатки Русского простого народа»

1-е. Ненависть к законности — непреодолимое желание делать именно то, что запрещено: пройти там, где заложено.

2. Невнимание к общей пользе и презрение к чужой собственности: ломка деревьев без нужды, отвращение от дорог.

3-е. Нелюбовь к порядку и чистоте: охота строить дома посередине улицы.

4-е. Пьянство и происходящие от того зверства.

5-е. Закоренелость в заблуждении (отвращение к картофелю).

6. Недалновидность, соединенная с предыдущим: поселянин сжигает поле, которое от того портится.

7-ое. Недостаток знаний: выделка купороса из самих железных колб; порча мыла прибавлением без меры серной кислоты.

8-е. Недобросовестность: пример шерсти чистой, в которую стали примешивать свинец». (89, 782; Одоевский замечает, что «книга для народа должна содержать нападение на все эти недостатки и сверх того содержать приятные наставления». Стоит сравнить эту заметку с текстом меморандума.)

«Недостаток знаний сильно действует на нравственность. Один купец решился отправить небольшую партию сукна в Китай; китайцы расхвалили его; это понравилось нашему мужичку — он отправил другую партию огромную, расхвалили и эту; мужичок обогатился, рад и спокоен, но с тех пор кончилась продажа нашего сукна в Китае, ибо половина последней партии была гнилая. Если бы наш разбогатевший мужичок имел малейшее понятие о Политической Экономии, то узнал бы, что главное дело в коммерции и главное дело благонамеренного гражданина не самому в один раз обогатиться и закрыть другим дорогу, но установить кредит произведений своей земли у иностранцев. Кто из бывших на Востоке не знает, что там наше «живет», это проклятое слово, посылающее на продажу всякую дрянь на Восток с мыслию: «Только бы мне как-нибудь сбыть, а там всех их так», — произвело то, что в Персии никто не верит, что произведения русских фабрик, посылаемые в подарок шаху, были действительно сделаны в России, а думают, что все это сделано в Англии; от сего все победы русского оружия не могли уничтожить пагубного для нас первенства англичан на Востоке. Так грубое невежество простого продавца имеет влияние даже на политические обстоятельства; и не мудрено: невежество — род сулемы, которая проникает до мозга костей...

К отчаянию, все это черты *народные*, большею частию такие, которые не могут быть нигде, кроме как у русских. Что же говорят нам о добродетели нашего простого народа? Где она? Зачем забавляют себя этою фантазмагориею? Опыты перед глазами — не упоминая о Старой Русе <так> и о <1 нрзб.> площади в время холеры. Нет, не в черни Русская добродетель, но лишь там, где этот характер развит образованностью» (89, 773 об).

«Зачем у тебя такие щели в полу? — спрашивал я у мужика. — Ну что б стоило сколотить — ведь от них, верно, зимою холоднее!» — «Э, батюшка, а вот осенью ребята на ногах грязи натаскают — так ни одной щелки не останется!»

Это ли жизнь, к которой Хомяков советует нам возвратиться» (89, 801 — 802).

«Сколь многим у нас не приходило на мысль, что партия стрелецкая и раскольничья еще жива в нашем простом народе и что единственный оплот против сего дикого, беспощадного и враждебного всему общественному устройству начала — просвещение. Каждый удар, наносимый просвещению, есть поддержка для стрельцов и аввакумовцев» (89, 777).

«Кто-то заметил, что Робеспьер не был бы таким злодеем, если бы жил более с людьми вне официальных отношений; его домашние почитали его человеком самым добродушным и не хотели верить, чтобы он был главной причиною всех злодеяний, совершенных в его время⁴⁵. Действительно, все элементы общественной жизни, даже светской жизни умиротворяют человека; на это имеют влияние самые второстепенные подробности: час обеда, самый стол, хорошее вино, хорошее кушанье, некоторая торжественность хорошо устроенного обеда — все это невольно смиряет злокачественные страсти, — не говоря уже о других случаях, съединяющих людей в беседу, располагающих их к спокойствию, к чувствам мирным, которые, словом, располагают к лени делать зло. Вот отчего аскеты не могут никогда ни сами быть боголюбивы, ни располагать других к благовоительности. Человек за глазами других людей то же, что человек, которого права собственности не определены, не ограничены правами других — он невольно делается эгоистом и припахивает чужую пашню. Прилагать мнения аскетов, как думает пишет Киреевский⁴⁶, к общественной жизни то же, что искать в книгах Исаака Голланца⁴⁷ или Корнелия Агриппы указаний для постройки железной дороги» (89, 116—117).

«Освещение улиц парижских газом положило конец уличному разврату, чего не могли сделать ни полиция, ни католические проповедники...» (89, 410 об.).

«Находили, что Лейбниц и Паскаль заимствовали много у своих предшественников — правда! Как Уатт заимствовал паровую машину от кастрюльки своей кухарки. Он не был самобытен! По мысли славянофилов, должно сесть в курной избе, в переднем углу, под иконой скрестить руки и дожидаться пока такая самобытность произведет чудеса» (41, 108; см. то же: 89, 401).

«То, что скудоумные люди называют народностью, есть, как мы видим, не что иное как суемудрое китайское стремление сохранить свои обычаи — хороши ли, дурны ли они — и не впускать к себе ничего нового под предлогом, что новое есть иноземное, прибылое, а не свое» (89, 764).

«*Народность* — великое слово; оно так же сладко отдается в душе человека, как слова семья, мать, дети, родные. Но не надобно забывать, что любовь семейная граничит с nepoтизмом, с семейным самолюбием, которое отнюдь не нравственнее индивидуального, что nepoтизм в жизни государственной есть зародыш гниения заразительного, беспощадного. Хороша та народность, которой сосед — человечность, иначе народность делается ужасною наследственною болезнью, от которой народ умирает; вот главным образом и это происходит. От исключительной народности, от ребяческого искания самобытности [рождается] общая народность народа начинает слабеть в своем составе, как всякий организм, питающийся и собственным организмом, как голодный верблюд своим горбом [дробятся чувства]. Привыкание к так называемой самобытности переходит от государства к отдельным сословиям: рождаются касты, которых крайнее развитие видим в Индии, где сапожник не станет быть вместе с хлебником, где поденщик выбрасывает дорого стоящий ему рис, потому что снял человек другой касты (см. в *Revue Britannique*, 1859), где один из если не непосредственных, то ближайших поводов к восстанию сипаев было полковое распоряжение обедать по десятку человек вместе» (34, 165).

«Отрешение народа от других никогда не проходит ему даром: он нравственно задыхается в своей ограниченной сфере. Любопытно наблюдение гр. Жозефа де Местра над жителями острова Сардиния (*Mémoires politiques de J. de Maistre*. Paris. 1858. p. 61—62)» (34, 166 об.)⁴⁸.

«Я заметил, что есть много людей с умом, но не умеющих употреблять своего ума (таковы наши мужики); есть напротив люди с весьма ограниченным умом,

но которые по большому развитию умеют употреблять его без остатка (н<a>пр<имер>, немцы). Вот выгода просвещения. Ученый фехтмейстер палкою выбивает шпагу из рук неопытного драгуна» (89, 645).

«Несмотря на все мое уважение к выставленным в наше время так называемым памятникам нашей так называемой древней жизни, несмотря на то же богатство, которое они разделяют по крайней мере с персидскими надписями, уверяю господ педантов, что строение почв, состав воды или <1 нрзб.> больше одарит мыслительность ребенка нежели все те сказки о том, как Еруслан Лазаревич победил Бову королевича» (89, 88—89).

«Раболепство пред чужою совестью, раболепство пред материальными выгодами, раболепство пред мертвою буквою! Какие три урока! Неужели человечество от них не поумнеет...» (89, 139).

«Как в вещественном, так и в нравственном мире одно средство избавиться от народной уродливости — это <1 нрзб.> общение с другими народами» (34, 167).

«Если все образованные русские отличаются быстротою соображения — то это единственно происходит от нашего многоязычия.

Точно то же мы замечаем и у других народов. Француз, знающий по-немецки, теряет свою поверхностность; немец, знающий по-французски, теряет свой педантизм, упрямство и односторонность. Сказать может быть, что этим путем и тот и другой утрачивают свою народность: ничуть не бывало! Француз остается французом, немец — немцем, русский — русским, все дело в том, что этим прикосновением других племен они совершенствуют элементы своей собственной народности» (34, 142).

«Нет ничего труднее и опаснее для писателя, как расшевелить слово народность, ибо это слово, как всякое собирательное (*entiti*). представляет равносложные смыслы. Добрые люди применяют к вам тотчас слова Меттерниха, который называет любовь к отечеству *une* <нрзб.> *geographique* <географической ограниченностью? — *фр.*>. Но любовь к отечеству и отрешение от других народов — вещи разные» (34, 173).

«Наши неудачи просто следствие нашего незнания и рукавоступия. А что толкуют г. г. славянофилы о каком-то допотопном славянотатарском у нас просвещении, то пусть оно при них и остается, пока они не покажут нам Русской науки, Русской живописи, Русской архитектуры в допетровское время; а как по их мнению вся эта допотопная *суть* сохранилась лишь у крестьян, не испорченных так называемыми *балуи-городами*, каковы, напри<ер>, Петербург, Москва, Ярославль и др. т. п., то мы можем легко увидеть сущность этого допотопного просвещения в той безобразной кривуле, которою наш крестьянин царапает землю на его безобразной ниве, в его посевах кустами, в неумении содержать домашний скот, на который — изволите видеть — ни с того ни с сего находит чума, так, — с потолка, а не от дурного ухода, в его курной избе, в его потасовках жене и детям, в особой привязанности к молодым, в неосторожном обращении с огнем и, наконец, в безграмотности. Довольно! Допотопное просвещение во всей красоте своей. А между тем Русский человек все-таки первый в Европе. Не только по способностям, которые ему дала природа даром, но и по чувству любви, которое чудным образом в нем сохранилось, несмотря на недостаток просвещения, несмотря на превратное преподавание религиозных начал, обращенное лишь на обрядность, а не на внутреннее улучшение. Уж если Русский человек прошел сквозь такую переделку и не знал христианской любви, то, стало быть, в нем будет прок; но это еще впереди, а не назад» (89, 787).

«Истинная свобода может быть лишь в мире правды» (89, 706).

¹ См.: Б. Ф. Егоров, М. И. Медовой. Переписка кн. В. Ф. Одоевского с А. С. Хомяковым // Ученые записки Тартуского гос. университета. Вып. 251. Труды по русской и славянской филологии. XV. Литературоведение. 1970, сс. 336—337.

² Там же, с. 340.

³ А. С. Хомяков. ПСС в 8-ми томах. М., 1900—1914 (далее: ПСС), т. 8, с. 60.

⁴ Труды по русской и славянской филологии. XV, с. 340.

⁵ В. Ф. Одоевский. Русские ночи. Л. 1975, с. 183.

⁶ Труды по русской и славянской филологии. XV. с. 342.

⁷ А. С. Хомяков. Стихотворения и драмы. (Большая серия библиотеки поэта). Л., 1969, с. 97.

⁸ Труды по русской и славянской филологии. XV, с. 342.

⁹ Там же.

¹⁰ Там же, с. 343.

¹¹ Там же.

¹² ОР РНБ, ф. 539, оп. 1. № 20. л. 82. В дальнейшем ссылки на этот архив писателя даются в тексте: в скобках указываются единица хранения и лист.

¹³ Труды по русской и славянской филологии. XV, с. 343.

¹⁴ В. Ф. Одоевский, с. 128.

¹⁵ Труды по русской и славянской филологии. XV, с. 343.

¹⁶ Там же.

¹⁷ А. С. Хомяков. О старом и новом. Статьи и очерки. М., 1988 (далее: Изд. 1988), с. 98.

¹⁸ Труды по русской и славянской филологии. XV, с. 342.

¹⁹ В начале мая 1842 Ф. Л. Морошкин передал Одоевскому перечень своих трудов и список учащихся Московского университета, способных с пользой служить во II-м отделении собственной его величества канцелярии, — см. оп. 2, № 784, лл. 3—6. Сохранилось небезынтересное письмо Ф. Л. Морошкина, датированное 22 сентября 1844. «На днях, — говорится в нем, — я имел удовольствие получить Ваши Сочинения в 4-х частях (С.-Петербургу 1844 г.). Не могу вполне выразить моего уважения к Вашему авторскому таланту и благороднейшему образу мыслей, который Вы противопоставляете нашествиям Западных разрушительных идей. В статье «Город без имени» веет высокое вдохновение. В статье «Последний квартет» мне нравится возвышенный взгляд на музыкальное состояние духа человека и глубокий анализ сердца. Везде нравится мне, восхищает меня чувство русской народности, при том же выражаемое в широких и благородных формах. Как бы хорошо было, если б и другие русские люди, не губя своих талантов рабским подражанием Западу, вразумились в современное состояние нравов Европейских, растленных учением Мальтусов и Бентамов. Нравственно, глубоко и грозно Ваше учение, как и быть должно при опасном отношении нашего любезного Отечества к Западу. Надобно благодарить провидение, что оно спящим во тьме чувственного мира посылает иногда великий свет учений, водимых Духом Божиим, духом Православия и Отеческих Спасительных преданий» // Там же. лл. 1—2.

²⁰ ПСС, т. 8, с. 52.

²¹ Видимо, к этому времени относится записка, хранящаяся в архиве Одоевского:

«Если вы завтра поутру свободны, любезный князь, нельзя ли будет исполнить благое ваше намерение съездить со мною к Демчинскому. Он целое утро

дома. Грозный вид небес, одетых ризой мрачною, мешает мне нынче быть у вас. Прощайте и будьте здоровы.

А. Хомяков.

Нам бы можно было завтра съездить также в дом Д. Л. Нарышкина посмотреть на чудо живописи — Иоанн Домеников. Говорят, он даже лучше Дюрера» // Оп. 2. № 1128. л. 6.

Записка дополняет представления о художественных интересах Хомякова: он еще не мог назвать работы Дюрера «сухими, скудными» (Изд. 1988. С. 78) — в начале 1830-х для него, как и для Одоевского, Дюрер — одна из общезначимых вершин искусства (об отношении Одоевского к Дюреру см. подробнее в моей статье «Изобразительное искусство и творчество В. Одоевского» // Русская литература и изобразительное искусство. Л., 1988. сс. 84—95).

Картина Доменико Цампери (Доменикино) «Евангелист Иоанн» (102,5×83) была в начале XIX в. куплена у штутгартского коллекционера Фромана обер-егерменстером Д. Л. Нарышкиным. Ее можно было увидеть в его доме (наб. Фонтанки, 21) до тех пор, пока за несколько лет до своей смерти Д. Л. Нарышкин не перепродал ее Николаю I. Сейчас она находится в Эрмитаже (по каталогу 1910 г. № 1643). Интерес Хомякова к Доменикино мог быть возбужден рассказами С. П. Шевырева, восхищавшегося «болонской школой».

Целью поездки к М. М. Демчинскому были, очевидно, дела цензурные.

²²ПСС. т. 8, с. 52.

²³А. С. Хомяков. Сочинения в 2-х томах. М., 1994 (далее: Изд. 1994), т. 1. с. 470.

²⁴Труды по русской и славянской филологии. XV. с. 341. Хомяков всегда был готов помочь другу; об этом свидетельствует, в частности, письмо А. И. Кошелева Одоевскому от 10 апреля 1844. «По поручению твоему, любезный друг Одоевский, — пишет А. И. Кошелев, — я был у твоей матушки; выслушал всю сию историю, дал ей кой-какие советы и лучше всего я сделал то, что передал ее на руки Хомякова, который хорошо знаком с прокурором, у коего будет дело в рассмотрении. Хомяков обещал заняться этим делом: и ты можешь быть покоен: все возможное будет сделано» // Оп. 2, № 637, л. 50.

²⁵Изд. 1994. т. 1, с. 470.

²⁶Изд. 1988, сс. 80, 79.

²⁷Изд. 1994, т. 1, с. 470.

²⁸Изд. 1988. с. 79.

²⁹ОР РНБ. ф. 850, № 321, лл. 10—11. Привожу начало: «За дружеское письмо твое весьма, весьма тебе благодарен, любезный друг Шевырев. Спешу сказать тебе, что первое письмо твое нимало меня не встревожило и не произвело на меня никакого неприятного впечатления: я заплатил тебе потому, что и прежде располагал тебе заплатить; а располагал потому, что стараюсь уплачивать свои долги и освободиться от тяжелого их ярма», — и окончание этого письма: «А жду минуты разделаться с откупными делами и заняться другими делами, которые жадно меня к себе влекут. Усердный поклон твоей жене, целую Бориса и остаюсь тебе преданный А. Кошелев». А. И. Кошелев выплатил С. П. Шевыреву 2857 рублей, — см. там же, л. 9. Судя по воспоминаниям А. И. Кошелева, делами, которые его привлекали, были «всякие предполагавшиеся преобразования» (А. П. Кошелев. Записки. М., 1991, с. 84), приостановленные из-за революционных событий во Франции. С Ф. Гизо, историком и политическим деятелем, премьер-министром накануне революционных событий, А. И. Кошелев был знаком — см. там же, с. 69.

³⁰ См. там же, сс. 85—86. Ср. с публикуемым письмом: «...незаметно даже для самих участников составилась кружок единокорный и единомысленный».

³¹ Русская Старина, 1904, № 7, с. 163.

³² Там же, с. 164. В кн: *Е. Ростопчина*. Стихотворения. Проза. Письма. М., 1986, — это письмо опубликовано с купюрами, лишаящими публикацию его смысла.

³³ Изд. 1988. с. 264.

³⁴ Горе побежденным (*лат.*). — Там же. сс. 258—259.

³⁵ Там же, с. 273.

³⁸ Там же, с. 265.

³⁷ Там же, с. 260.

³⁸ В 1856—1857 Одоевский зачастую «писал к Кошелеву чрез Ред<акцию> Русской беседы» (47, 8). 13 июня 1856, например, Т. И. Филиппов получил сразу два письма Одоевского, адресованных А. И. Кошелеву, и записку в редакцию, — см. оп. 2, № 1105. Содержание этих и многих других писем неизвестно, но несомненно, что, защищая свои убеждения или давая какие-то советы, Одоевский пытался повлиять на редакционную политику.

³⁹ Фрагменты «Русских писем» мною опубликованы в кн.: *В. Ф. Одоевский*, сс. 236—241.

⁴⁰ По соседству с этой записью, относящейся к началу 1857, есть и другая, прочитанная с большим трудом: «К Хом<якову> письмо в его духе о том, что мы имели право не ругать, ибо всё изобрели, даже портфель» (47, 36 об.).

⁴¹ Изд. 1988, с. 268.

⁴² Там же, с. 270.

⁴³ Там же, сс. 270, 274.

⁴⁴ Там же. с. 257.

⁴⁵ Вождь якобинцев М. Робеспьер для Одоевского — пример человека, сознательно творившего зло, хотя и с доброю целью. — см.: *В. Ф. Одоевский*. сс. 308—309.

⁴⁶ Одоевский с неприязнью относился к увлечению И. В. Киреевского православной аскетикой. Он счел бессмысленной публикацию в «Москвитяине» (1845, № 4) жизнеописания Паисия Величковского, выполненного духовником Н. П. Киреевской о Макарием, — см.: Труды по русской и славянской филологии. XV. с. 343. Возникшее оптинское издательское дело (см.: *В. Котельников*. Православная аскетика и русская литература. СПб., 1994. с. 74) побуждало писателя противодействовать пропаганде аскетизма.

⁴⁷ Исаак Голландец — очевидно, Абоаб да Фонсека Исаак бен Давид, проповедник в Амстердаме и Бразилии, переводчик двух каббалистических трактатов Авраама де Герреро («Врата неба» и «Дом Божий»), автор комментария к пятикнижию, опубликованного в 1681 по-португальски; впрочем, в одном из перечней (см.: *П. Н. Сакулин*. Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель писатель. Т. 1. ч. 1. М., 1913. с. 390) рядом названы Иоанн (вероятно, Иона) и Исаак Голландцы, по-видимому, потомки Исаака бен Иегуды Абарбанеля (правильнее: Абраванеля), знаменитого еврейского богослова и дипломата (1437—1508), в XVII в., поселившиеся в Голландии.

⁴⁸ Одоевский внимательно следил за деятельностью Жозефа де Местра. С его точки зрения, «ученость Местра Иосифа была самая бесполезная; предмет его изучения были мнения разных людей, но ни человек, ни природа» (59, 43). «Такого рода ученых, — поясняет далее Одоевский, — два сорта. Одни толкуют; этот сказал то-то, а другой — то-то, а я ничего не скажу; другие: этот сказал одно, другой — другое, а я скажу третье, чтобы что-нибудь сказать; а

дело — не мое дело. К последнему роду принадлежит Местр. Положительные сведения его весьма слабы, понятия о точных науках поверхностны» (53, 43). «Возражения Иосифа Местра против фактов естественных наук часто похожи на возражения китайского живописца, которого европеец хотел научить перспективе. Китаец никак не мог согласиться, чтобы дерево, которое стоит дальше [надобно рисовать], должно быть меньше того, которое стоит ближе; [теоретически] и прямую дорогу [представлять в] сводить углом. Европеец [поставил] повел китайца по аллее и, пройдя некоторое расстояние, попросил его обернуться, чтобы увериться, что дальние деревья кажутся ближе друг к другу, а [деревья] дорога уже. Китаец, подумавши немного, сказал: «А кто же всем сказал, что в то время, как мы шли сюда там дорога не сузилась и деревья не ушли в землю». Европеец повел его назад, чтоб уверить в противном. Это доказательство нисколько не убедило китайца: «Теперь дорога раздвинулась и деревья поднялись, вот и всё тут, того, что вы называете перспективою, я нисколько не замечаю» (41, 61). В 1847 году Одоевский познакомился с сыном Ж. де Местра. «жестоким иезуитом», ранее служившим в русской службе (50, 129).